

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	5
Потерянный рай	
Ростки сознания	7
Первые радости	9
Первые потрясения	13
Большие перемены	29
«В начале жизни школу помню я...»	
Конец войны	51
После войны и фронта	60
Ужасный сорок седьмой...	72
Прощай, начальная школа.	82
Движение горизонта	
Новые учителя	91
Дела семейные и не только («пушкинский» контекст эпохи)	102
«Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок...»	114
Вторжение политики в бытие и сознание	132
Громовое эхо ареста и смерть Сталина	139
Кумиры и приоритеты	152
«И случай, бог-изобретатель...»	169
Годы университетские	
Старт: «Первым делом, первым делом — на картошку...»	173
Новый жизненный уклад и новые лица	181
Созвездие филологических умов нашего факультета в конце 1950-х годов	193
«Блажен, кто смолоду был молод...», или Сладкая каторга филологического учения	215
«Мы жили тогда на планете другой...»	244
Указатель имен	250

К ЧИТАТЕЛЮ

Мои записки первоначально предполагали только мемуарное повествование о моем военном и послевоенном детстве и взрослении, проходивших на Украине — родине моей матери. Там только на одном из полтавских кладбищ покоится уже 14 моих близких родственников четырех поколений, начиная от моей прабабушки Марии Александровны (внучки Пушкина).

Случилось так, что через их и мою судьбу прошла не только драматичная историко-событийная жизнь нашей страны. В наших судьбах отразились показательные и коренные культурные связи русского и украинского народов, символами которых в материнском роду стали Пушкин и Гоголь — два истока общей культуры. В связи с распадом Союза мне кажется важным оставить объективное свидетельство очевидца для понимания трагических событий Новейшего времени.

Мои близкие друзья и стимулировали, и поддерживали это начинание. Я обратилась к жанру воспоминаний, увы, несколько поздно, а потому хорошо понимаю, что часто мои размышления и эмоции не вяжутся с документальной основой мемуаров и бывают излишними, и даже их надо бы убрать, но я... я просто не умею оставлять их «за кадром».

К тому же я вполне сознаю, что начало моей жизни может быть интересным читателю по-разному: событийно и психологически, в педагогическом и даже в просветительском отношении. Это позволяет мне надеяться на то, что каждый взявший в руки эту книгу сможет найти то, что ему более близко, отбросив малоинтересное

В детстве я оказалась на «дороге истории» в судьбоносный отрезок времени, а потому изначально совсем не планировала писать уже о своих студенческих годах, полагая, что этот важный период жизни у меня был не так показателен да и настолько напряженным, что в нем было совсем мало обычной романтики молодости. Однако когда оглянулась назад и погрузилась в прошлое, вспомнила и осознала в полной мере романтику юности в самом отношении к учению и здоровом

«аппетите» всеобъемлющей любознательности — не только моей, но и всех ближайших друзей моего поколения.

Если даже только один мой предполагаемый читатель заразится этим стремлением знать больше и больше, то есть своеобразной «духовной жаждой», то я буду счастлива. Кроме того, путешествие в прошлое само по себе затягивает как способ самопознания и осмысления основных вех своего жизненного пути.

Хочу выразить искреннюю благодарность своей семье, пострадавшей от моего «запойного» погружения в юность: главному вдохновителю этих мемуаров, их опекуну и консультанту — моему сыну-литературоведу профессору Евгению Тарланову, а также моему мужу-лингвисту профессору Замиру Курбановичу Тарланову — главному критику и техническому редактору текста. Я очень признательна моим бывшим коллегам, первым доброжелательным читателям, постоянно ободрявшим меня и верившим в мои возможности, особенно профессору-биологу Н.В. Предтеченской, почетному доктору университета в Йоэнсуу, и доктору философии Ирине Леонардовне Савкиной (Тампере), специализирующейся на мемуарной прозе. Моя глубокая благодарность Наталии Николаевне Мешковой — вдумчивому филологу и незаурядной личности, сумевшей даже в самые трудные годы замечательно сохранить честь и достоинство журналиста-профессионала и ставшей первым читателем всей книги, инициатором ее публикации.

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

Ростки сознания

С какого времени я себя помню? Говорят, в воспоминаниях Льва Толстого сохранилась даже грудь кормилицы. У меня же и намек нет на такую гениально глубокую память. Сколько бы ни перетряхивала калейдоскоп своей памяти, совсем не помню переезда нашего малого семейства (папа, мама, брат и я) из Москвы в Полтаву (лето 1939 года). Казалось бы, железнодорожный переезд и полная смена быта должны были поразить двухлетнего ребенка (я родилась в 1937 году), но ничего подобного. Однако кажутся не случайными, даже показательными для собственной психики те эпизоды, с которых я начала осознавать себя в этом мире.

В тумане прошлого почему-то проглядывают два самых ранних сюжета, если можно так сказать, с моим участием. Причем в таком хронологическом порядке.

Первая сцена — я сижу на своем высоком двухэтажном стуле (папа прикрепит к обычному стулу маленькое самодельное креслице с перекладиной спереди — его я помню очень ярко, вплоть до фактуры дерева на сиденье большого стула и выщербленной щепки на одном из перилец, а потому предполагаю, что видела его потом уже в чужом пользовании); сижу почему-то в той комнате, где были хоры, то есть внутренний балкон, и вход на чердак. За общим столом около широкого окна сидит вся большая-большая семья, а мой высокий стулик стоит крайним справа. Я с удовольствием уплетаю любимые вареники с вишнями, но, пользуясь тем, что множество взрослых занято разговором и на меня не смотрит, самые краешки вареников, которые не такие вкусные, как начинка, украдкой бросаю под свое креслице, на сиденье стула. Причем *прекрасно осознаю*, что, во-первых, совершаю запретное действие, а во-вторых, что любой из взрослых легко обнаружит эти мои огрызки на сиденье большого стула подо мной. Тем не менее продолжаю шкодить, сознавая, что мне попадет. Было мне, судя

по этому полтавскому детскому стулику, не менее двух лет, но не более двух-трех месяцев сверху (с учетом сезона вишен).

Размышляя об этом эпизоде, не устаю задаваться вопросом: что же меня так впечатлило, что помню эту ситуацию до сих пор? Все-таки, думаю, проклюнувшаяся совесть: ведь делаю что-то плохое. Однако стыда совсем не помню. То ли стыд развивается позже, то ли совесть и стыд вообще не строго связанные вещи...

Вторая сцена — в саду. Я сижу на корточках на грядке справа от центральной яблони (белый налив) — впоследствии нашей главной кормилицы в течение десятилетий. Грядка — с зеленым луком, непотоя, сильно заросшая высокой травой. Я спокойно «пасусь» в саду, пощипывая любимый лук. В это время меня зовет мама: «Лида-а! Лида-а!», зовет давно и все настойчивее и настойчивее. Не откликаюсь, я начинаю быстро рвать стрелки лука вместе с травой и жадно запихивать в рот: «Скорее, скорее!» Помню свой тугой кулачок, полный зелени. При этом опять понимаю, что делаю нечто нехорошее, мне даже невкусно, так как травы так много, что она перебивает вкус лука, но я не могу оторваться и нахально не отвечаю на призывы. Что было дальше — не помню, но вкус травы и сейчас ощущаю вживе при одном воспоминании. Опять задумываюсь: почему эта сцена зацепилась в сознании? Факт непослушания — что это, первое проявление воли, самостоятельно принятого решения?

Есть еще очень раннее воспоминание, как кажется, тоже в чем-то соотносимое с этими двумя.

Я и Коля (брат, старше на три года) лазаем под стоящий на стульях гроб с цветами и тут же быстро оттуда вылезаем. Чуть ли не наперегонки. Никакого тяжелого чувства от смерти и горя в доме совершенно не помню. Происходит это в большой и залитой солнцем комнате с натертым паркетом (то есть, как я теперь понимаю, в бывшем зале — с камином и изразцовой печью). Сейчас не могу объяснить, почему и сколько времени гроб стоял не на столе, а на стульях. Откуда явилась наша такая неуместная резвость? Неужели взрослые так нас оберегали и скрывали свою скорбь... Ведь гроб этот мог принадлежать только одному человеку — моей прабабушке Марии Александровне, о которой сказать, что мои родители очень любили ее, — это ничего не сказать. Для моей матери это был самый близкий человек. Для меня она была крестной и любимой «старенькой бабушкой». Для моего отца,

сравнительно недавно вступившего в семью (а это, как я теперь понимаю, было тогда для него гражданским *поступком*), была очень уважаемым личным другом, общение с которым началось еще в годы его работы в Москве (точнее — в Отраде, бывшем подмосковном имении графа Орлова-Давыдова, ныне попавшем в черту города). В родовом альбоме сохранился его показательный экспромт в день своей свадьбы:

Он предками был не очень тучен:
 Генеалогические книги весьма тощи.
 Но он расхрабрился — и у бабушки внучку,
 Лучшую внучку к себе утащил.

Поскольку Мария Александровна умерла 9 сентября 1939 года, то я тогда была в возрасте 2 года и 3 месяца. Совсем не помню, чтобы нас кто-либо останавливал или упрекал в чем-то...

Но, возможно, и этот блик памяти мелькает как более позднее раскаяние за глупую и неуместную резвость.

Так как же рождается самосознание? В проявлении собственной воли? В противостоянии родительским запретам? Хотелось бы думать, что оно рождается с *появлением совести*. Интересно проверить по отблескам детства в памяти других людей...

Первые радости

Именно с подачи других людей знаю, что росла более всего «папиной дочкой», поскольку он вообще всегда любил возиться с малышами. Говорят, что, услышав его шаги, я сразу комично впадала в рев в ожидании его вопроса: «Кто мою кукушечку обидел?» В ответ он слышал мой скулеж о всех крупных и мелких обидах со стороны многочисленного разновозрастного семейства. Папа активно выражал сочувствие и все жалобы принимал себе на грудь, утешая меня. В заключение отчета я садилась за стол вместе с ним и в который раз уплетала обед или ужин, как будто лишь «бежала через мосточек, ухватила зеленый листочек», как та коза-дереза, которая чуть позже очень возмущала меня своим бесстыдством. Вообще плохим аппетитом никогда, мягко выражаясь, не страдала и любила составить за столом компанию любому опоздавшему. Например, Марине — моей младшей тетке с маминей стороны, которая нас с Колей очень любила и с нами без конца возилась. Сохранились фотографии с нею и с моими перевязанными

мишками, пупсиками: видимо, ее медицинская специализация воплощалась в моих игровых фантазиях. Но именно Марина ревниво усматривала большую отцовскую склонность к «кукушечке» по сравнению с Колей, хотя моих обоих родителей это только смешило. Сейчас думаю, что на Марину влияло более всего не совсем педагогичное поведение нашего отца: уж слишком шумно и часто восторгался он моей ранней бойкостью, с которой я сдвигала стулья для «сцены», карабкалась на них и громким четким голосом, еще не выговаривая всех звуков, зато копируя отцовский ритм и интонации, *шпарила* (папино выражение) стихи А. Барто, К. Чуковского, Маршака, отрывки из Пушкина и т.д., явно рассчитывая на аплодисменты слушателей. В это время наш бедный Колечка, который тоже знал все это, забивался под стол от смущения и стыда за мое вызывающее поведение. Как думаю сейчас, в этих случаях отца просто до крайности радовали видимые результаты собственных режиссерских трудов.

Яркое воспоминание, которое почти точно можно датировать: я радостно оживлена, нарядно одета и, весело подпрыгивая, иду с тетей Ирой (моей «средней» тетей) по Первомайскому проспекту Полтавы к извозчику, который стоит возле Памятника.

Роль этого полтавского памятника в моем детстве аналогична роли памятника Пушкину в детстве Марины Цветаевой. Мера длины — «близко, как от нас до Памятника»; мера высоты — «высокий, как Памятник»; мера красоты — «красивый, как лев на Памятнике». Это примечательная колонна розового гранита, на ее постаменте — бронзовая фигура разъяренного льва, закрученный хвост которого уже в моем подростковом детстве был заметно отполирован детскими задиками (любимый фотоинтерьер!), вокруг памятника на четырех гранитных угловых подставках — тяжелая чугунная цепь, символизирующая границы Российского государства, охраняемые бдительным львом. Вся композиция была воздвигнута в 1909 году на площади перед широким бульваром и посвящена военному коменданту Полтавы Келину времен битвы со шведами в ознаменование 200-летия победы. Улица наша (точнее — бульвар) носила раньше название Келинской, но где-то перед войной, к сожалению, была переименована в Первомайский проспект.

И как же мне не радоваться, если мы вдвоем с тетей Ирой отправляемся в дальнее путешествие, да еще и «на извозчике» — в роддом за тетей Галей и ее новорожденным сыном. Поскольку Сережа появился

на свет 22 июня 1941 года, то это самый конец месяца, в начале которого мне исполнилось 4 года. Сейчас понимаю, почему нас только двое встречающих. Ведь родители и все другие взрослые уже на окопах. Но я, конечно, не думаю ни о чем печальном, радуюсь розовому маркизетовому платью (которое, как хорошо запомнила, сшила тетя Галя, даже помню кокетку из другой материи, в розах) и с удовольствием облизываю брикет мороженого, купленного тетей Ирой в маленьком ларьке по дороге к извозчику (на этот счет ее уговорить было необычайно легко). Легко вскарабкиваюсь на подножку открытой черной кожаной коляски и в этой тряской и подпрыгивающей «карете», запряженной рыжей лошадью, с большим нетерпением жду встречи с двоюродным братиком. Помню, как мы, стоя у трехэтажного серого здания, громко перекрикивались с тетей Галей в окошке наверху. Но затем я увидела только маленький сверток на руках у похудевшей и непривычно серьезной тети Гали. Хорошо помню свое разочарование: я ждала *мальчика*, пусть маленького, а это какая-то невыразительная кукла в конверте.

Очень скоро совместное купание и кормежка этой «куклы» молоком из соски сделают ее для меня самой любимой, ни с чем не сравнимой игрушкой, и все последующие пять лет совместной жизни пройдут под знаком самой горячей любви к трогательному голубоглазому малышу с совершенно льняными кудряшками.

Его сразу же положили в плетеную прямоугольную корзину, видимо выросшую не одно поколение грудничков в жизни быковской семьи, и первоначально поставили почему-то рядом с роялем в проходной комнате. Рядом у стенки стояла низенькая кушетка, на которой спала тетя Галя. Сразу же выяснилось, что у нее от стресса пропало грудное молоко, но с помощью бабушки наладили питание малыша — разбавляли кипяченой водой парное молоко нашей черно-белой козы Мики, родной дочери старенькой рыжей козы Галки. До сих пор хорошо помню, какие травы любила Мика. Это листья кашки (клевера), если они сочные. И еще одну траву — высокую, прямую, желательно непыльную, надо было нам с Колей запастись для Мики, чтобы, как нам сказали старшие, молоко ее было вкусным и понравилось Сереже. Это козье лакомство обычно росло у самых заборов, и в поисках его мы отправлялись в дальние рейды по всему околотку. К стыду своему, только много позже узнала, что эта травка называется тимофеевкой и считается чуть ли не самой ценной у луговодов.

Все заботы о маленьком Сережике, если мне его доверяли, были только в радость. Всегда с нетерпением ждала его дневного пробуждения. При этом хорошо помню, как лет в пять по-серьезному размышляла, какие вареники лучше всего подвесить ему на нитке: из вкусной без овсюков муки с картошкой или из муки с колючими овсюками, но со сладкой начинкой — печеной сахарной свеклой. Проснувшись, малыш сразу тянул что-то в рот, что очень меня умиляло. Когда же он научился ходить, то первое время донашивал мои платья и сарафаны, и его часто принимали за девочку, чему он очень смешно сопротивлялся. Мою маму он тоже долго называл мамой, а тетю Галю — так же, как я. В два-три года он обнаружил такую любознательность по освоению окружающего пространства, что за ним было не уследить: косолапил в дальние дворы, где его не знали, и несколько раз незнакомые люди приводили его к рыдающей и ломающей руки, видимо по дворянскому обычаю, бабушке.

Кончилось ее изобретением: вышивкой адреса на специальной матерчатой табличке: «Сережа Данилевский, Полтава, Первомайский пр., 27». Теперь, после очередного его исследовательского путешествия, эту табличку к каждой его одежке прикрепляли обязательно.

Еще одно яркое «событие» зацепилось в моей детской памяти как необыкновенное чудо. Может быть, потому, что в нашем доме обычно не праздновали дни рождения. Праздниками были именины, особенно бабушкины, поскольку она была в свои 54 года, безусловно, капитаном нашего семейно-родового корабля (с непререкаемым авторитетом, в том числе и у соседей, так как очень часто бывала их душеприказчиком), с характером командующего целой флотилией. Такой характер был выкован 22-летней борьбой вдовствующей матери пятерых детей за их выживание и право учиться. О них (именинах Софии) расскажу позже, а вот именины моего любимого целлулоидного пупса с израненной (расплющенной) ногой мы однажды отметили пиром, в ходе которого в прямом смысле «по усам текло» и даже в рот попадало. Дело в том, что в своих интендантских экспедициях по заготовке козьих кормов мы с Колей, в частности, обследовали немецкое кладбище за нашим садом — кладбище, которое плавно переходило в огороды, сливаясь с ними. И вот там, в зарослях тимopheевки, мы неожиданно наткнулись на... чудный большущий арбуз! Его еле-еле удалось дотащить домой в Колькиной рубашке, которую держали с двух

сторон за перевязанные рукава. Вот тут-то мы и создали гостей в нашем саду под липой. До сих пор помню, что с Колиной (старшей) стороны пупса почтили Ленька Стеблий и наша Галочка, приемная дочка тети Иры, а с моей стороны — Лида Окунева и Алка Буряк, обе наши соседки. Арбуз оказался великолепный — красный и сладкий. Правда, семи-восьмилетние мальчишки ужасно покромсали его своими ножиками. Но голодная публика уплетала счастливую находку взахлеб, прямо с косточками, утираясь и облизываясь, и была очень благодарна. Помню при этом, что Галочка тщетно пыталась всех нас воспитывать, а Алла принесла настоящий маленький бинт в подарок моему пупсу для его большой ножки.

Обычно говорят, что детство — это «потерянный рай», имея в виду блаженное состояние не только полной безответственности и внутренней гармонии, но и гармонии внешней — с окружающей средой прежде всего. Но мой рай был взорван войной, настоящим адом, который предстал в виде голода, холода, оккупации, страхов за близких и страха даже собственной смерти.

Первые потрясения

Самое раннее воспоминание о войне — это непривычно громкий, строгий и скорбный голос диктора радио, на весь наш очень широкий Первомайский проспект (со старым бульваром посередине, состоящим из вековых ясеней, лип и каштанов), и толпа плачущих людей около большого громкоговорителя на столбе, рядом с Памятником. Сейчас не могу сказать точно: был ли это *первый* день войны или в детской памяти отложилось яркое впечатление от *одного из последующих тревожных сообщений*, которому я стала свидетелем. Тогда я держала папу за руку, а он, помню, очень крепко сжал мою, чтобы я потерпела и не мешала ему слушать.

После этого месяца через два немцы заняли Полтаву. Это было жарким днем, и я очень хорошо помню, как после ночных громовых раскатов артиллерии огромный, крытый брезентом грузовик въехал прямо в наш сад, повалив плотный дощатый забор и раздавив собой высокие цветущие кусты георгин. Из грузовика выскочило множество немецких солдат, которые тут же, никого не стесняясь, разделись *догола* и стали мыться, поливая друг друга водой из каких-то больших бочек,

привезенных с собой. Помню свое детское изумление этими *голыми взрослыми*, которым *совсем не было стыдно* и для которых не существовали остальные люди — женщины, дети.

Должна сказать, что эта сцена настолько потрясла меня, что еще и через 10–12 лет, в самую острую пору холодной войны с американцами, она мне периодически снилась, но уже как *ночной кошмар*, как жуткое начало новой войны: мирный цветущий сад и вдруг — раздавленные цветы, даже целое море цветов под безжалостными колесами грузовиков и наглые суесящиеся и смеющиеся голые люди, быстро-быстро говорящие на непонятном языке.

Наш дом (здесь, наверное, следует сказать, что в прошлом он принадлежал мелкопоместной дворянке Анне Васильевне Гоголь, незамужней сестре писателя, воспитавшей пятерых детей рано умершей их сестры Елизаветы) был очень большим, краснокирпичным, с очень высокими лепными потолками, большими окнами, прекрасным дубовым паркетом и двумя выходами: один — во фруктовый сад, другой — во двор, к огромному столетнему ясеню и маленькому побеленному домику, когда-то давно построенному для дворовых слуг. Под нашим домом находился большой кирпичный подвал, размером комнаты с двести, наверху — огромный, во весь дом, чердак, высотой в человеческий рост, а посередине и более. Наша большая патриархальная семья (моя бабушка и ее три замужние дочери с семьями) до войны проживала в десяти комнатах этого семейного ковчега, сравнительно недавно доставшегося ей по наследству от матери — Марии Александровны, вдовы гоголевского племянника Н.В. Быкова и внучки А.С. Пушкина. Моей крестной она стала в результате тайного крещения, очень рискованного для моих родителей, в 1937 году в Москве — месте ее постоянного проживания с семьей младшей дочки.

Даже в чисто материальном описании нашего дома нельзя не подчеркнуть безусловно главный предмет его интерьера — рояль, но он был еще и реальным воплощением «души дома», за которым стояла внутренняя драма и вся жизнь моей бабушки, да и трагическая судьба всех несбывшихся надежд. Дело в том, что даже в музыкальной семье не только ее голос, сильный и глубокий, но и абсолютный слух, и общая одаренность с ранних лет приковывали к себе внимание и обещали очень много. При этом лучшие педагоги города, которые стали работать с ней в дворянском пансионе, отмечали ее необыкновенное

трудолюбие и серьезность. Они сумели подготовить 17-летнюю выпускницу так, что она и по вокалу, и по фортепиано прошла конкурс в 40 претендентов на место и поступила в Московскую консерваторию. А вот тут ее и поджидало страшное разочарование. Накануне отъезда отец, человек традиционных, даже консервативных взглядов, наслышавшись дурных отзывов об общежитии консерватории и не сумев срочно найти в Москве семью, которой можно было бы доверить его любимую и скромную Сонечку, категорически запретил ей ехать учиться. Разумеется, он убоился полубогемной жизни «эмансипэ», как он выражался, угрожающей его дочери. Чувствуя себя виноватым, прадедушка поклялся немедленно выписать ей из Петербурга лучший по тому времени рояль и, несмотря на финансовые трудности все возраставшей семьи, оплачивать ее дорогое обучение в частном музыкальном училище, да еще с перспективой учиться у замечательного педагога вокала Марии Александровны Денисенко, получившей образование в Италии. Впоследствии так все и случилось: был из Петербурга доставлен рояль марки «Diderichs Freres», голос бабушке ставила М. А. Денисенко, которая, в частности, потом в 20-е годы репетировала с Иваном Семеновичем Козловским в Полтавском музыкально-драматическом театре. Там с ним пела и моя бабушка. Кроме того, она с большим успехом солировала в Полтавской хоровой капелле Александра Васильевича Свешникова и его вокальном квартете, часто и с удовольствием пела в церковном хоре и, конечно, как до, так и после революции любила участвовать во всех благотворительных концертах. Любимым ее репертуаром были арии и романсы для контральто. Поскольку бабушка, овдовев в 32 года и потеряв за четыре месяца не только мужа, отца и все права состояния, осталась только с чемоданом нот, то рояль в нашем полтавском доме фактически был ее единственной личной собственностью, не унаследованной от матери. Помню, она не раз повторяла: «Какое счастье, что Сергей (это будущий мой дедушка. — Л. С.) купил мне на свадьбу пианино, ожидавшее меня в Олефировке! Мой бедный рояль избежал трагической участи!» Бабушка имела в виду поджог усадьбы Данилевских анархистами, всего лишь через три месяца после похорон умершего от инфлюэнцы мужа, которого крестьяне очень любили и оставили уже при советской власти управляющим бывшим собственным коннозаводом (перед этим он окончил московскую Петровско-Разумовскую академию). Здесь я вынуждена сделать отступление,

подключив одно из самых ярких впечатлений детства моей семилетней мамы (конечно, передаю не дословно, но суть), когда они бежали от опасности в полную неизвестность: «Теплая майская ночь, полное безлюдье, ярко светит луна. Дорога вьется меж холмов и тянется через луга куда-то далеко к лесной полосе. Мама́ и мы, все дети, едем в тряской телеге на соломе, впереди — дворник Тихон, очень заботливый и обеспокоенный. Саша и Ира лежат, у них скарлатина. Рядом трясется и очень мешает твердый чемодан. Но далеко вокруг в звонкой тишине под пение кузнечиков и мерный скрип немазаной телеги разносится мощное контральто мамá: “Гори, гори, моя звезда...”!»

Это воспоминание своей мамы хорошо запомнила и я, так как оно замечательно характеризует мою бабушку, ее характер и музыку в роли главного утешения ее жизни.

Единственного сына моей бабушки Сашу война застала в Ленинграде, откуда он с началом войны ушел добровольцем в ополчение и попал в блокаду, а свою жену на восьмом месяце еще до начала войны отправил рожать в Полтаву к своей матери. Тут-то она, аспирантка биофака Ленинградского университета, и разрешилась сыном, как раз в день объявления войны. К этому времени еще бездетная младшая дочь бабушки Марина, а перед этим и ее муж дядя Ваня ушли добровольцами на фронт как врачи. Помню, как страшно рыдала бабушка и в ужасе была вся наша семья, когда прошел слух о гибели под бомбами эшелона с госпиталем, в котором лечила раненых наша Марина. О ее судьбе мы ничего не знали почти три военных года.

К моменту фашистской оккупации, а это были два долгих, долгих года, в нашем несколько опустевшем доме осталось четыре женщины (бабушка, две ее дочери, невестка Галя) и четверо маленьких детей, включая новорожденного Сережу — вынужденного питомца нашей чудо-козы Мики. Мужчин было двое: мой 32-летний отец, который имел бронь и «твердое» обещание пединститутского начальства об эвакуации семьи в случае угрозы прорыва фронта, а пока же он, как и другая моя тетя (Ира), целые дни проводил на окопах, строя противотанковые рвы на подступах к Полтаве. Вторым мужчиной был 36-летний тети-Ирин муж дядя Антон, в довоенной жизни землемер, ставший при немцах сапожником и тем самым, несмотря на тяжелую форму туберкулеза, целый год, до самой своей кончины, через силу работавший на все наше патриархальное семейство (вот откуда до

сих пор хорошо понимаю технологию ручного изготовления сапог!). Когда фашисты заняли Полтаву, прорвав ее оборону с одной стороны, мой отец и две тетушки были на окопах где-то с другой стороны. Отец пробрался домой ночью и, не показываясь нам, детям, вынужден был вместе с соседом (это был Иван Яковлевич Стеблій, молодой учитель) прятаться в подвальном отсеке, имевшем потайной выход в сад. Почти сразу же наш дом слишком приглянулся немцам, и трое офицеров стали в нем на постой.

Надо сказать, что обстановка дома (портреты и старые фотографии, книги, ноты, картины, иконы, рояль, остатки старинной мебели и пр.) этим немцам нравилась, и они даже проявляли определенную лояльность к его обитателям: помню, как один раз я получила конфету в виде столбика круглых розовых леденцов; как солдат с обвязанной шеей показывал мне печатную машинку, видимо увидев, что я ею заинтересовалась. По рассказам тети, когда я, голодная, без спроса схватила с подводы, привезенной постояльцами, кочан капусты и стала его грызть, увидевший это офицер не без брезгливости заметил, что она же грязная. На что гордая ленинградская тетушка по-немецки сказала, что это у меня просто *острая форма авитаминоза*.

Лояльность одного немца, интенданта по имени Коннон (в довоенное время он был инженером-технологом на мясокомбинате в городе Франкфурте), простиралась так далеко, что он иногда приносил из военных припасов какие-то продукты (например, свиные обрезки, крупу), видя нашу нужду и явно нас подкармливая. Позже по его рекомендации маму и тетю Галю как владеющих их языком взяли посудомойками в немецкую столовую в доме, расположенном поблизости. Кстати, это огромное трехэтажное здание с двумя флигелями, очень привлекательное в архитектурном отношении, живо и по сию пору. Оно было известно в Полтаве как Дворец Кочубея, до революции там находился институт благородных девиц, в котором училась моя бабушка, в советское время там помещался строительный институт всесоюзного значения, фашисты же приспособили его под штаб полтавской группировки своей 8-й армии. Именно поэтому наши летчики все время бомбили этот квартал, пытаясь попасть во вражеское гнездо.

Хорошо помню бомбежки. Сначала выла сирена, предупреждая о ней. В это время каждая семья из ближних частных домов решала, куда бежать прятаться. Как я сейчас понимаю, было три выхода:

или скрываться в норах, которые почему-то индивидуально копали на глинистых склонах огромного холма, на котором был расположен наш район (соседи, но не наша семья); или спускаться в подвал под каменные своды нашего самого большого дома; или же пересидеть в бомбоубежище, которым считался большущий подвал разрушенного молокозавода. В этом последнем случае каждый в нашей семье нес заранее известную собственную поклажу. Например, я должна была брать с собой раздвижной холщовый стульчик, мой брат — подушечку и рыжее одеяло, бабушка — свой приготовленный ридикюль с документами, икону Спасителя и столетнюю куклу Любиньку (ее помню прекрасно, как дивную, вожделенную награду за примерное поведение: прелестная фарфоровая головка была пришита к тельцу (по моде XIX века набитому волосами, в этом случае Софьи Александровны Пушкиной-Ланской), одетому в кружевное белое бальное платье на голубом атласном чехле). Ею она очень дорожила как памятью о собственной бабушке-тезке. К тому же эта историческая кукла замечательно отвлекала детей во время налетов. Даже моя двоюродная 13-летняя сестра Галочка проявляла к ней большой интерес, а Коля, помню, кричал: «Спрячь Любиньку скорее, бабушка, а то ее рванят!»

Жители нашего двора (человек двадцать соседей с детьми из рядом расположенных частных домиков) чаще всего собирались и бегом бежали через пустырь, то есть сильно разбомбленный молокозавод, в его сохранившийся подвал, и мы сидели там в страшной сырости, притом среди голодных крыс. Если мы не успевали добежать, то оставались в собственном подвале. Один раз ночью я почему-то выскользнула из него и увидела ослепительно освещенное лучами прожекторов и сигнальными ракетами небо, но эта красота грозила гибелью (мне это постоянно твердили, так как, сонная, я ныла и не хотела идти в бомбоубежище, хотя Колька, напротив, страшно боялся, торопил меня и плакал уже по другой причине) — с тех пор я не люблю, даже не терплю салюты. Дважды бомбы попадали в наш сад, причем один раз в метрах пяти-шести от дома, обнажив в глубокой воронке подземные ходы времен Петра I, на которых, как оказалось, стоял наш дом. Тогда обвалился балкон дома, но никто не пострадал (наверное, сидели в «общественном» подвале). Еще более опасный случай произошел позднее, когда наша семья сбилась в кучу в коридоре, в центре дома. В это время бомба попала в огромный, в два взрослых обхвата, ясень, росший во дворе,

и в часть маленького домика, где под обломками потом откопали мою любимую подружку Лиду Окуневу вместе с ее мамой. По счастью, они спаслись, всего лишь... залезши под кровать и накрывшись подушками, только Лидины ноги оказались в страшных ожогах. Я же помню, как из моих длинных волос, несмотря на мои отчаянные вопли, с трудом вытаскивала штукатурку тетя Галя. Куски корней и древесины ясеня потом находили в двухстах и более метрах за нашим садом, были выбиты стекла нижнего этажа детского дома... В тот раз был разрушен целый большой угол нашего дома, где особенно пострадала бывшая комната дяди Антона, с потолков попадала лепка и штукатурка, отбивалась изразцовая плитка на камине, а самое ужасное — отошла наружная стена в той большой комнате, бывшем зале, где жили мы с мамой. После этого она несколько лет только и занималась тем, что заделывала тряпками и глиной огромные трещины, каждый раз беспокоясь, чтобы наше жилище не развалилось как карточный домик.

После этой бомбежки долго еще во дворе, загораживая дорогу, валялся огромный толстый ствол ясеня, ожидая своей очереди на ручной распиловкой соседями. По этому стволу мы бегали, демонстрируя физкультурные навыки и достижения. Не могу в связи с этим выбросить из мозаики памяти эпизод, когда ночью мы с Колей, спокойно возвращаясь из бомбоубежища, тренировали равновесие и ходили по этому дереву с поклажей на голове, еще не дойдя до порога дома. В это время я услышала приглушенный смех и что-то вроде поцелуев. «Что это?» — спросила я Колю. «Да это Алкина мать с фрицем», — равнодушно ответил он. Почему это засело в памяти пятилетней девочки, сейчас плохо понимаю. Но подозреваю все-таки, что уже тогда была потрясена предательством.

А ведь это были наши самые близкие соседи. Их сад и наш сад разделялись только низеньким символическим забором, а ночью в саду курил Алкин дед — старик Буряк, или *Титькі*, как его называла Алка.

Между тем наш отец сначала прятался в дальней каморке подвала с выходом в садовый люк (в кустах смородины), с наступлением же зимы — в сарае на сеновале.

Все время семья страшно боялась за него, так как немцы были рядом, да и некоторым соседям нельзя было доверять, так что тайна его пребывания в любую минуту могла быть раскрыта. И вот как-то раз, уже после смерти дяди Антона, Коннон подошел к моей маме и сказал,

что он понял, что ее муж где-то рядом, и что, желая нам всем добра и предупреждая угон в Германию, он советует ему немедленно выйти и срочно зарегистрироваться официально в качестве хозяина какой-нибудь ремесленной лавочки, пока это не дошло до эсэсовцев. Эсэсовцев все немцы сами очень боялись. Еще недавно мы с моей ленинградской тетушкой Галей вспоминали, как рыдала и выкрикивала в истерике одна немка из женского батальона, несколько дней жившая в нашем доме, она хотела к своей «муттер» («матери»), «нах хауз» («домой»), а Коннон ее страшал: «Тише, тише, эсэ!»

Как-то раз один эсэовец ни за что застрелил нашего Тузика, безобидную черно-белую дворнягу, которую мы все очень любили и долго оплакивали, потом он же с револьвером гнался за бабушкой, посмеившей ему что-то возразить, выкрикивая «юдэ», видимо приняв ее внешность за еврейскую. Спас иконостас, перед которым бросилась на колени глубоко верующая бабушка.

Здесь нельзя не вспомнить, как один итальянский солдат, коловший во дворе дрова, сказал бабушке, загибая по очереди пальцы на руке: «Сталин, Гитлер, Муссолини — капут... — Карашо!!!»

Вообще бабушка, будучи женщиной общественного темперамента (кстати, это было результатом именно дворянского воспитания, поскольку все дореволюционные годы она занималась общественной благотворительностью и минимально — домом и семьей), рисковала очень часто.

Прежде всего, она не смогла бросить на произвол судьбы 28 малышей соседнего, за забором сада, детдома, оставленного убежавшим в панике начальством. Вместе с верной санитаркой тетей Шурой Савченко (она потом еще долго жила с нами) бабушка, всего лишь музыкальный работник этого учреждения, приходивший до войны, как я теперь понимаю, на час-другой к этим малышам, вынуждена была сначала по максимуму отрывать от наших скудных садово-огородных и козых припасов, а потом — идти на поклон к немцам, взывая к их гуманным чувствам, а иногда и бесшабашно требуя какого-то продовольствия для маленьких брошенных детей. Ее религиозная настроенность очень часто ей помогала.

Один случай Божьей помощи в острой, не терпящей отлагательства ситуации она любила вспоминать даже спустя многие годы. Однажды она спокойно развешивала какие-то вещи во дворе нашего дома.

Неподалеку на солнышке сидел-курил эсэсовец (на вид мирный). В это время прибегает, запыхавшись, незнакомая пожилая украинка (среди них, как оказалось, встречались антисемитки) и, возбужденно выкрикивая, показывает руками: «Скорише, скорисше, он там, у кущах бузку, за картоплю, жид ховається!» («Скорее, скорее, вон там, в кустах сирени, за картошкой, жид прячется!»). Бабушка обомлела, эсэсовец кричит ей: «Что она говорит? Что она говорит?» И тут, как была убеждена бабушка, ее *Господь благословил, чтобы помочь несчастному*: «Она говорит, что ее обворовали и вор побежал в ту сторону». Эсэсовец равнодушно махнул рукой и остался сидеть развалившись.

Поскольку бабушку вызывали как русско-немецкую и русско-итальянскую переводчицу (итальянский, близкий хорошо известному ей французскому, она понимала и как музыкант, исполнявший многие итальянские арии), она знала больше других о проблемах и даже намерениях немецкого начальства. Так, она спасла двух женщин-врачей из расположенной напротив нас по Первомайскому проспекту инфекционной больницы, еврейскую национальность которых заподозрили немцы. Мой отец, замечательно рисовавший и вообще, как все признавали, очень «рукастый», подделал им паспорта, с которыми они бежали. И некоторым нашим русским пленным, которым разрешали работать на свободе, с ее подачи вовремя «нечаянно» оставляли в саду мужскую одежду и еду.

Кстати, о еде. С ней было очень сложно, ведь у нас в семье было десять ртов! Конечно, сад, огород и коза Мика были огромным подспорьем, но этого было очень мало, особенно в первый год войны, когда возможности натурального хозяйства в городе еще не умели даже использовать. Например, наш сад в сентябре уже не плодоносил, за исключением орехов. Позже маме и тете Гале иногда доставались объедки из столовой, но это бывало редко, так как хозяйственные немцы учитывали все и сами откармливали животных и, разумеется, не допускали никаких хищений. Хорошо помню, с каким чувством я смотрела на измазанного молочной кашей малыша Сережу. По рассказам моей ленинградской тетушки, я изрекла: «Когда у меня будут дети, они будут очень чистенькие». — «Что, будешь их часто купать?» — «Нет, я их буду облизовать». После этого жившая с нами беженка из Киева, художница по куклам тетя Женя Васильева, поддразнивала меня стишком: «И после варенья, и после конфеток /

Я буду облизывать всех своих деток». Есть хотелось всегда, но, может, это я была такая обжорка? Тогда почему же наш Колечка, который всегда, в отличие от меня, подхватывал все детские инфекции, в этой печальной ситуации опечатался моей памятью... с высунутым языком: «Ага-а! А я — больной, а я — больной!!»? Конечно, он радовался лишнему кусочку, тому, что семья сбивалась с ног, чтобы выменять ему, например, драгоценное яйцо, на которое я не могла не смотреть с вожделением. Мама потом рассказывала, как разрывалось ее сердце, когда она слышала мой рассудительный ответ брату: «Хоть ты и больной, а *хвастываться* нечего».

Кроме еды, была другая проблема — холод. Не было ни угля, ни дров, иногда приходилось жертвовать даже мебелью. Зимой мы спали в одежде и мучились от сырости. Мой отец после войны долго с улыбкой вспоминал анекдотическое легкомыслие все еще витавшей где-то в энтомологических облаках тети Гали, которая на семейном совете по этому поводу как-то предложила обменять часть собранных с огорода овощей на семечки: дескать, и топливо (шелуха), и еда (семечки), и приятное занятие одновременно.

Летом наших пленных иногда днем немцы вели строем по проспекту, тогда кто-то из соседских детей кричал: «Пленные, пленные!» Мы, остальные дети, хватали в подол и карманы все, что у нас было: помидоры, огурцы, яблоки, драгоценные картофелины, недозрелые орехи, какие-то носильные вещи, тряпки на портянки и пр., — и бежали через бульвар к ним, со смешанным чувством ужаса и надежды вглядываясь, нет ли кого из родных и знакомых. В большинстве случаев конвойные разрешали детям поменьше подходить и отдавать свои скудные подношения, но довольно часто попадались и настоящие звери. Мою подружку лет 5-6, Лиду Окуневу, когда она отдавала свою печеную тыкву пленному, один конвоир сильно ударил по плечу прикладом (потом ее мать тетя Валя, простая, уже овдовевшая солдатка с хорошо подвешенным языком и сильным чувством справедливости, устроила в немецкой офицерской столовой истерику, свидетелем которой была моя мама, очень боявшаяся за нее, но в тот раз кончилось более-менее благополучно — видимо, еще не было частей СС).

Один немецкий солдат когда-то сказал маме: «Мы... что? Простые солдаты, мы только выполняем приказы... Чего нас бояться? Мы такие же люди, как вы. А вот эсэсовцев бойтесь. Это — *не люди!*»

На всю жизнь запомнила я и то, что моим глазам нельзя было видеть, но близорукая моя мама, которая вела меня за руку, увидела этот ужас очень поздно. Это было довольно далеко от нашего дома («как 3-4 раза от нас до Памятника»), и я не помню, почему мы очутились летом или ранней осенью на перекрестке улиц Гоголя и Октябрьской (Жовтневой), рядом с памятником Гоголю. В конце Гоголевского бульвара стояла виселица, а на ней висел мертвый, совсем молодой парнишка с какой-то надписью на груди (потом узнала: «Партизан»). Совсем не помню народа вокруг, да его, кажется, и не было, только помню его довольно длинные каштановые волосы под ветром. Мама сразу же дернула мою руку и повернула меня обратно, мы побежали по Гоголевскому бульвару к Пушкинскому перекрестку. Мама вся дрожала и сказала, что там сейчас будут стрелять, чтобы я ни о чем не расспрашивала.

Да, наша наивная мама предполагала, что мы с Колей мало чего понимаем в стрельбе. Но даже я, а не то что Коля давно знали, что такое стрельбище, из чего там стреляют и главное — где и какой можно собирать порох, тот, который хорошо поджигается и легко взрывается. В своей слишком ранней вольнице (мама, бабушка, две тети — все заняты на каких-то работах, чтобы выжить и вытянуть детей, мы же предоставлены сами себе, да еще должны были следить за маленьким Сережей и отгонять на пастбище коз) мы, изучая окрестность, вышли на правое крыло гитлеровского штаба, от которого узкая дорожка вела на огромное стрельбище со специальными, разрисованными кругами щитами, где упражнялись немецкие солдаты и офицеры. Правда, у нас хватило разума приходить и бродить там после их утренних занятий, но задолго до вечерних. Видно, расписание приблизительно, но знали. Так вот очень скоро вся семья с ужасом наконец выяснила правду о нашем дневном времяпрепровождении. Дело в том, что у Колиных друзей-ровесников Леньки Стеблия и Леньки Буко очень ценились два вида пороха: черный мелкий, похожий на маленькие угольки одного размера (с его помощью костер горел и интересно искрился, за этим они любили наблюдать на некотором расстоянии), и рыжий, под названием динамитный, представляющий собой сантиметровые или полтора-сантиметровые, как будто застывшие кусочки клея, выдавленного из тюбика. Как действовал рыжий порох, мы не знали, но предполагали, что он хорошо взрывается. Мой умный и любознательный старший брат решил это проверить и для этой цели выбрал мой любимый

никелированный маленький (на пол-литра) самоварчик, отобрав его из нашего игрушечного хозяйства. Как сейчас помню: вдвоем мы аккуратно набили серединку самоварчика бумажными пакетиками вперемешку то с черным порохом, то с рыжим. Этим мы занимались перед входом в дом, сидя на скамейке. Не знаю почему, но, поднеся спичку к бумажке, Коля, по счастью, сразу бросил самоварчик в сени нашего кирпичного дома. Раздался страшный взрыв, на звук которого сбежалось несколько соседей по двору. В сенях разрушилась каменная притолока, разорвало деревянную дверь в подвал и в клочья разлетелся сам самоварчик. Что нам было потом — здесь полное отключение моей памяти, но прогулки по стрельбищу и собирание пороха были строго-настроено запрещены.

Как тут не вспомнить, что уже после войны нашему троюродному брату Жене Репетину, Колиному ровеснику, в Киеве при подобной же ситуации в 15 лет оторвало правую руку!

Среди самых страшных потрясений детской психики этого времени горестная судьба одного хорошо знакомого и любимого мною человека — тети Нади Воловик. Она была очень близкой подругой моей младшей тети, Марины, они вместе учились в мединституте и вместе работали в ближайшей от нас поликлинике, хотя жила она в Полтаве далеко от нас. Я ее очень любила с младенчества: любила забегать к ним с Мариной в поликлинику, где с интересом перебирала коробочки из-под лекарств, а подаренный ею для моих кукол никелированный кувшинчик с широким горлом в деталях помню и сейчас. Во время оккупации вдруг она, встревоженная, с другого конца города прибегает к маме: немецкими властями приказано всем евреям собрать самое ценное, продукты на три дня и явиться на биржу труда к такому-то часу. Что делать? В противном случае обещали расстрел. Надя, по матери русская, просила совета, и моя мама умоляла ее не регистрироваться как еврейке или в крайнем случае бежать. На всю жизнь запомнила мама, как плакала Надя, восклицая: «Ну чем, чем я виновата?» Но что могла моя мама? Только плакать вместе с нею. Однако тетя Надя, как и остальные ее собратья по несчастью, все же не поверила в нечеловеческую жестокость фашистов и пошла на биржу. Увы, это была хитрая ловушка: вместе с тетей Надей фашисты сожгли в подвалах Полтавского краеведческого музея *около пяти тысяч евреев!!!* Об этом нельзя было говорить, но кто-то из немцев проговорился при

бабушке. Помню, что бегала за флаконом с нашатырем в аптечку на кухне, когда бабушка лежала в обмороке.

Много позже, когда мой брат женился на харьковчанке, мы узнали, что точно так же, обманом, фашисты одновременно расправились с тысячами харьковских евреев и матерью нашей Зиночки. Ее мама 17-летней девчонкой влюбилась во вдовца-украинца, старше ее чуть ли не на 15 лет, к тому же имевшего сына-подростка. В знак протеста против этого брака от нее отказалась правоверная еврейская семья, и маленькая Зина росла в среде местных украинских рабочих. Когда немцы заставили «зарегистрироваться» ее мать, она спрятала свою кудрявую пятилетнюю дочку у соседней. Девочка выжила только благодаря их благородному мужеству и деятельной опеке, а ее юную 22-летнюю маму фашисты безжалостно расстреляли. Здесь не могу не упомянуть: много позже, когда ей было за 50, Зине предложили германскую компенсацию за трагически погибшую мать, но она с негодованием отказалась «даже думать об этом»!

Когда мой отец легализовался, он, выпускник московского Литературного института и преподаватель вуза, категорически отверг настойчивые предложения работать в немецкой газете и, как и советовал Коннон, открыл мастерскую по производству... детских игрушек из папье-маше. В ней работало пять знакомых ему женщин-художниц, включая ленинградскую тетюшку и двух беженок из Киева. (Одна из них, венгерка тетя Эдда (Эдит Гашпар), очень выразительные глаза которой в темных от голода глазницах отложились в моей памяти, на всю последующую долгую жизнь стала близкой подругой тети Гали. После войны она стала известным украинским художником, архитектором (руководила строительством улицы в разрушенном землетрясением Ташкенте), а ее, Э. Репринцевой, замечательные акварели киевского городского пейзажа и полтавских подсолнухов, как и многих других цветов, и сегодня тепло греют неотчуждаемый украинский сегмент моей души.)

Кукольную мастерскую помню очень хорошо, потому что она постоянно меня манила как заветное, фантастически интересное место. На ближней улице Короленко нашли, видимо, для аренды две довольно большие проходные комнаты на втором этаже. В одной из них складывали заготовки: глину, гипс, груды разной бумаги, включая рваную, и старые газеты, котлы для варки клейстера, краски и кисточки. Там же

стояли столы для художниц. Самая замечательная, вторая, комната была для меня настоящей пещерой Аладдина: там на расставленных вдоль стен полках сохли не только гипсовые колодки для половинок игрушек, не только еще маловыразительные склеенные половинки игрушек из папье-маше, но и, о чудо, настоящие и самые разные раскрашенные куклы: пираты, солдаты, генералы, лошадки всех размеров и мастей в разных динамических позах, Деда Морозы, Снегурочки, зайчики, медвежата и пр. и пр. Фантазия художников-скульпторов и живописцев была через край, конечно, на фоне полного отсутствия тогда такого сверхмирного, так необходимого всем детям инструмента познания мира.

Именно в это время к моему отцу пришел уроженец Полтавы, впоследствии известный московский художник Михаил Рудаков (его кисти пастельный большой портрет моего отца, мастерски схвативший папино выражение лица, тоже очень бережно хранится у нас в семье). Михаил Николаевич был *расстрелян* немцами под Харьковом как попавший в плен советский офицер, но чудом был вытасчен из-под груды тел простой сельской женщиной и выжил у нее после очень тяжелых ранений. Он пробрался к своей матери в Полтаву и уговаривал моего отца бежать вместе через линию фронта известными ему тропами. Однако моя мать буквально вцепилась в отца и не позволила ему этого сделать, пугая последствиями его исчезновения для семьи. Много позже мы узнали, что Михаил Рудаков осуществил-таки этот вожденный переход к своим, но «недремлющее око» НКВД встретило его полным недоверием, и как *изменника родины* его сослали на 10 лет в магаданский лагерь. Из лагеря он вышел несколько раньше, будучи реабилитированным совершенно случайно — благодаря посмертной публикации дневников известного писателя Юрия Крымова. В них он очень тепло говорил о М.Н. Рудакове и восхищался проявлениями его героизма и мужества. Возвратившись из Магадана в Полтаву, Рудаков нашел собственную мать стоящей с протянутой рукой у хлебного магазина. Забрав ее, он уехал в Москву и там начал жизнь сначала: добился признания как художник (более всего иллюстратор), женился, подрастил дочку и только летом 1962 года приехал в Полтаву с семьей и долго рассказывал моему отцу, каких несчастий и мук стоило ему исполненное решение перейти линию фронта.

Об украинском национализме на Восточной Украине никогда ничего не слышала, впрочем, может быть, это я не особенно его замечала

и в детстве, и в школьные годы, да и позже, когда практически каждым летом приезжала на Украину. Но одна история о периоде оккупации в ироническом пересказе моего отца, неисправимого шутника, хорошо запомнилась. К нам в дом иногда приходил «дід Мыкыта», родственник по мужу тети Иры. Это была курьезная и интересная фигура: человек сильно пожилой, но до самой глубокой старости удивительно лихо отплясывающий вприсядку гопака, а главное — необразованный, но очень уважающий образованность, читавший на редкость бессистемно и гораздо больше, чем могла переварить его бедная голова с трагической судьбой неучившегося «байстриюка». Читал он, как я теперь понимаю, из той богатейшей книжной сокровищницы, которая при не очень красивых обстоятельствах, вместе с картинами, посудой и пр., попала в руки его матери — в прошлом горничной едва ли не самого крупного полтавского землевладельца (сейчас уже забыла его фамилию и не исключаю, что Трощинский). С еще довоенного времени дед любил ходить на литературно-философские беседы к моему отцу, причем приходил пешком издалека, с другого конца города, нередко удивляя отца гремучей смесью искренней любознательности и невежества, щедро приправленного «дуже щырым» (папино выражение) национализмом. Так вот от него папе приходилось в 1942–1943 годах слышать о «жовто-блакитной нэньке» — Украине с ее «народным гетьманом» Петлюрой и «його дитямы», которых ждет большое будущее в союзе с Германией. Но потом, когда немцы уличили деда Мыкыту, сторожа казино, в краже какого-то сафьянного диванчика, предприимчиво пущенного дедом на сапоги, и его элементарно *выпороти*, тут уже все его политические пристрастия и иллюзии рассеялись как дым.

Когда положение на фронтах войны начало меняться, немцы с особым ожесточением стали устраивать облавы на жителей, пытаясь вывезти в Германию как можно больше людей трудоспособного возраста. Бесследно, например, пропал 16-летний внук деда Мыкыты, единственный сын дочери. Один раз, зайдя в небольшой магазинчик за солью, в такую облаву попала моя мама. На всю оставшуюся жизнь она сохранила горячую благодарность незнакомой продавщице, которая пожалела ее (мама говорила об оставленных маленьких детях) и с риском для собственной жизни выпустила через подсобное помещение во двор. «З Богом, дивонька, бижы!» — сказала она.